

# И С Т О Р И Я

УДК 930

## БЛЕСК И НИЩЕТА РОМАНТИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ: УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Ю.И. ВЕНЕЛИНА НА БАЛКАНЫ В 1830–1831 гг.

© 2013 г.

*М.В. Белов*

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

belov\_mihail@mail.ru

*Поступила в редакцию 21.10.2013*

Ученое путешествие Ю.И. Венелина на Балканы рассматривается с точки зрения ресурсов романтического мировосприятия и с учетом психологических особенностей русского интеллигента-разночинца 1820–1930-х гг. Героический миф первооткрывателя, которым вдохновлялся Венелин, налагал существенные ограничения на его исследовательскую практику.

*Ключевые слова:* Ю.И. Венелин, история славяноведения, путешествия русских ученых, Романтизм, разночинцы.

Ученое путешествие Юрия Ивановича Венелина (1802–1839) на Балканы, в Болгарию и Дунайские княжества относится к числу первых подобных поездок российских исследователей, способствовавших становлению отечественной славистики в качестве научной дисциплины [1]. В недавнее время были опубликованы подборка документов, относящихся к этой поездке, а также частные письма Венелина и дневник, который он вел в пути [2–3]. Литературная и научная деятельность Венелина была предметом специального изучения в большом объеме работ<sup>1</sup>, что, однако, как показал Г.К. Венедиктов, вовсе не исключало тиражирования ошибок [2, с. 3–16]. Собственно путешествие Венелина на Балканы рассматривалось в литературе, как правило, с точки зрения установления обстоятельств его организации, хронологии и топографии, а также значимости собранных там материалов. Такой подход находился в русле позитивистской, по сути, традиции восприятия «достоверного» знания: познавательные установки очевидца не рассматривались в качестве весомой помехи и, тем более, структурирующего фактора в канале информации, а сама ситуация межкультурного контакта эпистемологически не проблематизировалась [5, с. 23]. В настоящей статье, напротив, акцент перенесен на те психологические и литературные ресурсы восприятия в путешествии Венелина, которые относятся как к топике странствий и жизнестроительства этой эпохи [6], так и к мифологии романтического «я» на русской почве в специфической среде первых разночинцев [7].

Обстоятельства происхождения и ранней юности Ю.И. Гуцы-Венелина весьма туманны, и, тем не менее, их необходимо учитывать при реконструкции особенностей его жизненного сценария и научно-литературной стратегии. Родившийся в семье протоиерея глухого захолустья (прикарпатского села Большое Тибаве), но проявивший раннее стремление к учебе мальчик вдохновлялся родовым преданием о знатном предке – покутском<sup>2</sup> князе, который бежал в Карпаты от польской унии. Считая себя отпрыском «потерянной» ветви русского народа, он открывал неведомую родину по книгам в венгерских учебных заведениях. Вместе с тем жадное чтение воспитывало страсть к фантастическим путешествиям и поиску забытых предков, транслируя в мир ученых занятий личную ситуацию.

В краткое время обучения на философском факультете Львовского университета Венелин строил планы бегства в Россию. Он хотел сесть на корабль в Триесте, побывать в овечьей мифах Греции и лишь затем высадиться в Одессе. Однако одиссея Венелина оказалась скомканной. В начале весны 1823 г. он вместе с двоюродным братом И.И. Молнаром перебрался через Карпаты в Черновцы, накануне пасхи прибыл в Хотин, а спустя несколько дней оказался в Кишиневе, где перебежчиков приветили генерал-губернатор И.И. Инзов, архиепископ Дмитрий и ректор семинарии Ириней.

Забота о хлебе насущном заставляла на время укрощать мечты. Перебравшись в Москву

летом 1825 г. способный к языкам и увлекающийся историей Венелин, по совету земляков, делает выбор в пользу медицинского факультета, поскольку врачебная практика может гарантировать какой-то стабильный доход. М.П. Погодин, близко сошедший с Венелиным и оказавший ему помощь в издании первой книги, удивлялся: «Каков! человек, который перевертывает вверх дном несколько народов, восхищается пятирублевыми уроками. Уж надо бы его поддержать!»<sup>3</sup>.

Между тем выход книги о болгарях [9] сопровождался в основном негативной реакцией в журналах (у Погодина был повод испытать досаду) и непониманием в ученых кругах [8, т. II, с. 374–379, т. III, с. 108–113; 10]. По свидетельству первого биографа Венелина, «...нашлось несколько горячих голов и чувствительных сердец, старавшихся, в доказательство терпимости мнений и оценки увлечения, распространить слухи о помешательстве автора и засадить его в больницу» [11, с. 167]. В этом смысле Венелин мог стать своеобразным предтечей П.Я. Чаадаева. Впрочем, и первый биограф признавал наличие фантастических заблуждений в венелинской книге: «...скоро замечал он уклонение, не мог не чувствовать, что стоит на рубеже самых крайних ошибок, спешил воротиться, но уклонившись на извилистый путь, мог воротиться только тем же и не иным путем». Безсонов объясняет эту особенность венелинского творчества в духе плоской психологии – как сочетание «подвижного до крайности ума» и страстного сердца [11, с. 166]<sup>4</sup>. Ближе к истине заключение Г.Д. Гачева о том, что книга Венелина — образец романтической литературы в широком смысле этого слова [4, с. 27–51]<sup>5</sup>. Но психологическую предрасположенность тоже не следует сбрасывать со счетов. Визионерство<sup>6</sup> Венелина стало следствием (и компенсацией) социальной изоляции, которая преодолевалась даже в научно-литературном поле, где прочность сословных перегородок заметно ослабевала, с большими трудностями, а также – фиксации на миссионерской легенде, восходящей к родовому преданию.

Психологические особенности русского интеллигента-разночинца 1820–1930-х гг. редко обсуждались в исследовательской литературе. Интересные замечания на этот счет имеются в известной биографии В.Г. Белинского, написанной В.С. Нечаевой. Говоря о патроне великого критика по «Отечественным запискам» А.А. Краевском, «человеке темного происхождения», исследовательница, быть может, сгущая краски<sup>7</sup>, пишет: «Дело здесь было не только в погоне за наживой, в корыстном приобретательстве, а также в уязвленном самолюбии,

страдавшем от постоянной зависимости, от роли квалифицированного слуги, знания и труд которого использовали его чиновные и родовитые покровители. Это был протест против своего неполноценного социального положения, когда любыми средствами добиваются перехода в класс хозяев жизни. Та же психология двигала Погодиным, Надеждиным и некоторыми другими представителями разночинной интеллигенции. Умный московский корреспондент Краевского Андросов, можно сказать, не в бровь, а в глаз охарактеризовал группу, к которой принадлежал Краевский, хотя писал о Надеждине: “И притом... знаете ли, милый Андрей Александрович, что из нашей братии *parvenu* из сотни вы не обрящете одной пары людей честных, а?”» [12, с. 9].

В свою очередь Белинский, противопоставляя себя этой подлой породе, возвел «честь» разночинца в героический принцип личного поведения: «Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода — я и без того рискую этак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унижить себя перед кем бы то ни было или продать себя...» [14, с. 227]. Возможно, близостью социальной ситуации и жизненного выбора двух авторов, занятых в разных литературных регистрах<sup>8</sup>, следует объяснить сочувственный некролог Венелину, помещенный в «Московском наблюдателе» в то время, когда его редактировал «примирившийся с действительностью» Белинский [16, с. 48–50]<sup>9</sup>.

Смесь комплекса неполноценности и предполагаемого превосходства в личности Венелина настолько бросается в глаза, что ее отметил и первый биограф, читавший его путевой дневник: «...на первых страницах встречаем мы выражение какого-то безотчетного страха перед отдаленною и слишком мало известною страной, какое-то робкое сознание слабости собственных сил; мы поймем его тогда только, когда вспомним, что этот человек и каждую, даже неважную, статью свою начинал благоговейным начертанием I.H.D.O.M. (*in honorum, иногда et gloriam, Dei Optimi Maximi*); что он постоянно рассыпал по сочинениям остроты и шуток, и в то же время весьма строго судил себя и напечатанную статью, как поступок, в котором многое недостаточно, много могло быть лучше; наконец, мы должны вспомнить, что за тем миром, в котором мы встречаем писателя со всей энергией, со всем увлечением южно-русского ума и склада, существовал для Венелина-человека другой мир жизни, грустный и тяжкий» [17, с. 96–97]. Страх абсолютного одиночества на грани ущербности и избранничества

ва – его главная фобия. Во время путешествия Венелин, как ревнивая любовница, осыпал Погодина упреками за отсутствие писем, не забывая осведомиться (с передачей поклонов) о семье и окружении С.Т. Аксакова, в дом которого он вошел благодаря лучшему другу, каковым считал этого историка, литератора, журналиста [2, с. 123–124, 141–142 и др.].

Сценарий литературного подвига сложился еще до поездки на Балканы и только утвердился в сознании Венелина по его возвращении. В письме Инзову, датированном 1832 г., он писал: «Ни одного народа в нынешнем литературном мире нет малоизвестнее Болгарского, и что еще замечательнее, не всякому на севере даже известно, что в углу Бессарабии находится маленькая Болгария, соплеменная Руси. <...> Это открытие нового поприща, посредством которого забытое воскрешается в мире литературном, есть само по себе маленькая благотворная эпоха в его судьбе, похожая на ту, в которую дело забытого колодника вырывается из-под спуда, пускается в ход и отдается человеколюбивому, благородному стряпчему...» [17, с. 97]<sup>10</sup>.

И все же «открытие» болгарских родственников предшествовало их «изобретение» в романтическом сочинении, которое и стало основанием для путешествия, профинансированного Российской академией [2, с. 17–44.]. В приписке к письму Погодина С.П. Шевыреву, сделанной во время новоселья, которое праздновал историк 29 апреля 1830 г., Венелин предвкушал прикосновение к легенде: «Право славное дельцо видеть классическую страничку, какова Италия! Наблюдайте, почтеннейший Степан Петрович, рисуйте все с натуры на месте, а по воображению можно и в Москве. После завтра еду и я в страну классическую для Руси, Литвы и Венгрии — в Болгарию, отечество Бояна, славянского Осиана, отечество священного нам языка и т.д.» [18, с. 144–147]. Наследие неоклассицизма начала века, безусловно, оказывало влияние на представления Венелина, но деятельное вмешательство авторской фантазии в исследовательский процесс и вера в гигантскую миссию по возвращению к жизни великого в древности и забытого ныне народа явно тяготели к национальной романтике.

Встреча с реальными болгарскими, казалось бы, должна была если не опровергнуть, то скорректировать изобретенную легенду. Но поскольку Венелин посетил лишь окраинные и обезлюдившие в результате войны 1828–1829 гг. территории и общался он в основном с беженцами и переселенцами, бродячими торговцами и ремесленниками, то мог еще какое-то время лелеять свой идеал как подлинное изображение.

Скоро наступило разочарование. Оно же сквозит в письмах, направленных болгарскому активисту В. Априлову во второй половине 1837 г.: «...после подобных [многих] неудач самое сильное болгаролюбие может охладеть» [15, с. 180]<sup>11</sup>. Венелин с горечью пишет о напрасно потраченных им силах и времени, упрекая болгар в инертности, и ставит им в пример сербов, опубликовавших народные песни и ставших известными благодаря этим фольклорным памятникам всей культурной Европе.

Первые болгарские впечатления Венелин, с восторгом встретивший своих боянов, без труда втискивал в готовую схему: «Я видел в Варне с полдюжины болгарок... точь в точь, т.е. до нитки, одеты как в восточной подмосковной и рязанки. Возьми, дружище, бутылку донского, — писал он Погодину, — поезжай к Сергею Тимофеевичу [Аксакову], выпей бокал, и дай отведать и тем, коим по вкусу ваше русское учение» [2, № 35, с. 95–101 (цит.: с. 99)]<sup>12</sup>. Однако в дальнейшем, как показывают путевые заметки Венелина, эти представления усложнились, напитываясь деталями из наблюдений и рассказов информаторов. Дневник путешествия пестрит этнографическими открытиями. Например, Венелин обнаружил, что, с точки зрения турок, болгары приходятся русским не братьями, а племянниками. Как и некоторые другие русские наблюдатели, автор уделяет особое внимание занятиям местных жителей. Да и сам стиль записей часто меняется с «юмористического и модно-романтического» на учено-деловой [3, с. 235, 242–243].

В начале путешествия в Варне еще неопытный и восторженный Венелин поселился в доме болгар, которые «более привыкли к турецкому [языку]. Насилу мог я им вдолбить в голову, что между собою болгарам грех говорить потур[е]цки. В короткое время я так приучился по-болгарски, что разговариваю уже без переводчика; только трудно их приучить, чтобы говорили со мною чисто по-своему; а то вечно ломают русский» [2, с. 98]<sup>13</sup>. В этой курьезно-комичной ситуации, когда исследователь никак не может добиться от своего объекта должной чистоты, Венелин почти не отдавал себе отчета в том, что сам не способен ее воспринять. В том же письме Погодину (от 20 августа 1830 г.) он рассказывает об элементарном лингвистическом казусе, который, тем не менее, означал существенный сбой коммуникации: «У многих спрашивал про рукописные книги, не знает ли кто у кого. Сначала один обрадовал меня тремя; приносит. Что же? Три разные его билета от русских начальств. Он был прав, ибо книга на болгарском просторечии значит свиток бумаги,

рукописная книга, т.е. исписанная бумага. Представить себе не можете, какие трудности должно прежде преодолеть, пока им объяснишь то, чего спрашиваешь» [2, с. 97–98]<sup>14</sup>.

Погоня за древностями слишком часто заканчивалась для Венелина неудачно. И это еще можно было объяснить тем, что необразованные болгары не понимали огромной значимости старинных рукописей для науки<sup>15</sup>. Однако недоверие возникало и в том случае, когда Венелин пытался записать народные песни: «... Простой болгарин, который уверен, что россиянина может интересовать только русская песня, никак не поверит, что его может интересовать и болгарская. Вот почему всякий раз, когда я просил через господ болгар продиктовать мне песню, они удивлялись, что в этом таится что-либо тайное, и... начисто отказывали! <...> Одни подстрекали других не давать мне песен (потому что они воображали, что петербургским или московским генералам нет никакой нужды петь болгарские песни!!!), а другие смотрели мне в карман» [15, с. 177–178, 182]. Оставалось только сетовать на «врожденную недоверчивость» болгар. Хотя Венелин хвастает, что овладел языком настолько, что его стали принимать за болгарина [15, с. 179], он сам свидетельствует об участии посредников (переводчиков?) в общении с носителями фольклорной традиции. Быть может, в этом кроются причины недоверия?

Еще одним способом объяснения зазора между легендой и реальностью стало пагубное влияние на болгар неславянских элементов, прежде всего греков, или обобщенно — происки врагов. Еще в Одессе Венелин познал на себе лживую «черту греческого характера» [2, с. 96]. А во время поездки в Силистрию убедился, что «болгаре в 10 раз более страждут от греков, чем от турков. Я был у митрополита в надежде получить от него какие-либо сведения, но, когда он стал ругать свою паству (болгар), которую он так искусно стрижет, варварами, я взял шляпу и вышел с твердым намерением более не бывать у него» [2, № 37, с. 115; 3, с. 216–217]. Неприязнь к славянам проявляли и влахи, занятые своим римским происхождением и изуродовавшие русский алфавит хуже, чем В.С. Караджич в Сербии [2, № 40, с. 126]<sup>16</sup>.

Ощущение враждебности окружающих, доводящее до отчаяния, нарастало по мере пребывания в Бухаресте. Венелин оказался изгнанным даже из общества здешних русских чиновников и офицеров, которые заподозрили в нем филера: «Обстоятельство, что я не служу ни в одной канцелярии, может быть, кому показалось важным для недоверчивости, что я занимаюсь стариною, грамотами, вещь непонятная для таких

людей, которые от роду не знают, что за животное археология, историческая старина, палеография и т.д. Сначала эта недоверчивость смешала меня, но когда гримасы дошли до того, что однажды один мудрец в полголоса напомнул разговаривавших за другим столом быть осторожным (т.е. предо мною) в словах, когда иные не стали туда ходить, я поневоле взбесился на пошлость этих дураков...». История повторилась, когда Венелин сменил обеденный зал. В результате пришлось перейти на сухой паек. «...Я не бывал ни в каком собрании, ни в театре, чтобы по крайней [мере] не мешать своим присутствием ничьему удовольствию» [2, № 43, с. 136–138]<sup>17</sup>. Далее в этом письме Погодину от 5 января 1831 г. Венелин описывает похожее на паранойю преследование его неким евреем, заставившее обойти, чтобы скрыться от погони, полтора десятка улиц и переулков Бухареста<sup>18</sup>.

Печальнее всего было отчуждение болгар. На вечеринке у В. Неновича 1 января 1831 г. во время беседы о древностях с неким болгаринцем, говорившим по-русски, «один или двое других прислушивались. Впрочем, недоверчивость была написана на лице одного и другого; и к большей моей досаде, они кончили разговор тем, что объявили меня *кривичкою*, т.е. притворяющимся» [2, с. 137]. Ампула фигляра, чудака, сумасшедшего мерещилось Венелину в каждом постороннем взоре. Он постоянно чувствовал себя находящимся «между четырьмя глазами», впадал в депрессию и ощущал себя таким же несчастным, «как и Жан-Жак [Руссо] некогда в Лондоне» [11, с. 181]<sup>19</sup>. Прекрасная легенда обернулась кошмаром вполне в романтическом духе.

Хотя дневник путешествия содержит немало рассказов простых болгар (в основном переселенцев), с которыми общался Венелин, парадокс ситуации заключается в том, что он так и не нашел общего языка со своим слугой Сидором. Крепостной, мечтающий в этой стране «обезьян» [13, с. 235] только о «вольной», обещанной ему после поездки, Сидор, называемый в письмах Погодину и дневнике, как правило, Дурнограем, стал главным объектом венелинской иронии. Раздражение на него, как и все прочие негативные эмоции, достигли пика в Бухаресте: «...подобной скотины я от роду не видал. <...> Тут он пускается в резоменты, по коим следовало ему вручить отпускную при выезде из Москвы, и другие, которые бросили бы в ярость и всякого святого. <...> Впрочем, особенно за ним я ничего не заметил; но пусть бы лучше пил или блядничал (т.е. действительно вел себя как скотина. — М.Б.), только бы оставил меня в покое. Стоит только взглянуть на него и сплин готов» [2, № 41, с. 128–

129]. Сословная дистанция в отсутствии антагонизма происхождения воссоздавалась на культурном уровне. Идеализированные болгары оказывались ближе Венелину, чем свой *русский* челядин. Но, очевидно, взгляд господина сказывался и на качестве увиденного за границей, да и на самой способности к адаптации и коммуникации.

#### Примечания

1. См. библиографию, составленную В.В. Ишутиным [4, с. 148–204].

2. Покутская возвышенность находится во внешней полосе Карпат, на территории современной Западной Украины.

3. Дневниковая запись осени 1828 г. цит. по: [8, т. II с. 206].

4. В другом месте биограф указывает на переживания Венелина в связи со своим «общественным положением», безденежьем, насмешками и сомнениями окружающих [11, с. 185–186].

5. Впрочем, по наблюдению М.В. Никулиной, фантастические построения Венелина в его первой книге о болгарях, конечно, далекие от современных научных взглядов, уравновешивались столь же произвольными домыслами его предшественников, некоторый сдвиг к более основательным суждениям наметился позднее – в исследованиях П.И. Шафарика [10].

6. Автор некролога в «Московских ведомостях» приводит несколько примеров таких озарений: «Однажды вечером, в своем путешествии в Болгарии стал от нечего делать описывать какой-то город, который сделал на него сильное впечатление своим прекрасным местоположением. Вдруг, — говорит он, — перенесся я во времена XIV или XIII века, когда турки осаждали этот город; на площади, перед моими окнами, представились мне турки того времени и толпа болгар, и из моего описания вышла первая глава романа». Аналогичный случай произошел на Девичьем поле, когда так же вживе он нарисовал пострижение Шуйского в связи с походом Жолкевского. «Трофей Карла Великого и мирный венок Лейбница отнимали у Венелина сон во время ночи и тревожили его в часы дня. В науке восстал он против германской монополии; на славянской земле воздвиг грозный лик волжского царя Атилы, который забавлялся трусостью Рима восточного и грозил Западному; он любовался этим ликом, с особой страстью рисовал черты его» [11, с. 192]. См. также своего рода фрагмент «романа» из римских времен в записках периода путешествия: [3, с. 235–242].

7. Ср. оправдательный, по замыслу, очерк о молодом Краевском: [13, с. 449–504].

8. Периферийность регистра, в котором работал Венелин, увеличивала относительную значимость его подвижничества. В поздних письмах Венелин досадовал, что сочинение о болгарях — это «не поэмы Пушкина, т.е. не могут принести такого барыша, то их издавать значит выбросить в окошко 800 или 1000 рублей»; «...в России покамест в ходу одни романы да повести» [15, с. 180, 189].

9. Нечаева высказывает предположение об авторстве Белинского на этот текст, поскольку критик был знаком с Венелиным: [12, с. 211, прим. 16, с. 370].

10. Сюжет спасения узника (литературного воскрешения), заимствованный из романтической традиции, был релевантным идеологии «национального возрождения», и не случайно подвиг Венелина стал в Болгарии ее составной частью.

11. Еще одна цитата: «Признаюсь вам откровенно, что после отрицательного содействия болгар благородные ваши чувствования, изложенные в вашем письме от 22 мая, не успели изгладить во мне недоверчивость к готовности болгар быть мне полезными в их же деле. <...> Для меня было приятно знать, что есть хотя один болгарин, который наконец оценил мое слабое адвокатство в пользу его соотечественников...» [15, с. 183].

12. См. также: [2, № 36, с. 102–114 и др.].

13. Ср. с признанием О.М. Бодянского, который, как только пересек границу, «...благословясь, пустился вкривь и вкось болтать на богемском. Впрочем, дело шло ладно: я очень хорошо понимал чешину; а что важнее всего, так это то, что меня понимали. Это так меня радовало, что я со всем встречным и поперечным болтал без умолку и, признаюсь, в Подебраде... содержатель гостиницы не хотел верить, что бы я был русс: “Руссы, — сказал он мне, — сколько я их ни видал, обыкновенно говорят с нашим братом по-немецки”» [19, с. 5–6].

14. В другом случае причиной коммуникативного сбоя стали подозрения в Венелине ревизора. Болгарин, рассказавший о старинной рукописи у него на хранении, по наущению своего начальника, который был замешан в махинациях с русской продовольственной помощью, стал избегать дальнейших встреч, поскольку интерес к древности был воспринят всего лишь как повод для проникновения в преступную бухгалтерию [15, с. 178–179].

15. В Кишиневе путешественник познакомился с неким Иваном Манойловым, сыном болгарского священника из горной Болгарии, который передал ему несколько листов пергамента с текстом богослужебного содержания, предположительно XIV века. По рассказам болгарина, в его доме находился целый сундук подобных рукописей, вышиной с человеческий рост, из которого дети обычно брали по листочку для своих забав [15, с. 185; 11, с. 182–183]. При этом порой возникали подозрения, что некоторые болгары скрывают от русского путешественника рукописные книги, которыми чрезвычайно дорожат [15, с. 186; 11, с. 177–178].

16. Из Бухареста Венелин писал: «Вообще здесь ненавидят славян; у волошских книгопродавцев я осведомлялся о старых славянских [книгах]; один мне сказал с презрением: ...к моему черту мне сербские книги!» [2, № 44, с. 141].

17. Исключение составили почтмейстер И.П. Яковенко и офицеры генерального штаба Менд и Вейнмарн, но даже их Венелин не отнес к кругу «откровенного знакомства».

18. Юдофобия — еще одна навязчивая идея Венелина [2, № 46, с. 144].

19. Как вопль отчаяния читается последнее письмо Погодину из Бухареста (3 марта 1831 г.): «Я

одинок, вот в чем мое несчастье. Я дойду до крайности. Как дорого стоит мне услуга моя Академии! <...> Работать не могу, ибо я болен душою» [2, № 45, с. 141–142].

#### Список литературы

1. Никулина М.В. Первые научные путешествия в славянские земли и их роль в истории русского славяноведения // Из истории славяноведения в России: Труды по русской и славянской филологии. Вып. 2. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1983. С. 75–94.
2. Ученое путешествие Ю.И. Венелина в Болгарию (1830–1831) / Публ. подг. Г.К. Венедиктовым. М., 2005.
3. Венелин Ю.И. Путевые записки / Публ. Т.А. Медовичевой // Зап. Отд. рукописей Российской государственной библиотеки. Вып. 51. М., 2000. С. 194–250.
4. Ю.И. Венелин в болгарском возрождении / Отв. ред. Г.К. Венедиктов. М., 1998.
5. Куприянов П.С. Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. // Этнографическое обозрение. 2004. № 2. С. 21–37.
6. Романтизм: вечное странствие / Отв. ред. Н.В. Вишневская, Е.Ю. Сапрыкина. М.: Наука, 2005.
7. Вайскопф М. Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
8. Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. II–III. СПб. 1889–1890.
9. Венелин Ю. Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к россиянам. Историко-критические изыскания. Т. I. М., 1829.
10. Никулина М.В. Ю.И. Венелин в русском славяноведении первой трети XIX в. (Проблематика славянских древностей) // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. В.А. Дьяков. М.: Наука, 1986. С. 23–39.
11. Безсонов П. Юрий Иванович Венелин // Журнал министерства народного просвещения. 1882. № 6. С. 159–206.
12. Нечаева В.С. В.Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836–1841. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
13. Орлов В.Н. Пути и судьбы. М.: Советский писатель, 1971.
14. Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1988.
15. Сборник за народни умотворения. I. София, 1889.
16. Московский наблюдатель. 1839. Ч. II. Смесь.
17. Безсонов П. Некоторые черты путешествия Ю.И. Венелина в Болгарию // Московитянин. 1856. Т. 3. № 10. С. 95–134.
18. Письма М.П. Погодина С.П. Шевыреву // Русский архив. 1882. № 6. С. 127–202.
19. Письма к М.П. Погодину из славянских земель / Под ред. Н. Попова. М., 1879. Кн. 1.

#### GLAMOUR AND POVERTY OF ROMANTIC IMAGINATION: A SCHOLARLY JOURNEY OF YU.I. VENELIN TO THE BALKANS IN 1830-1831

M.V. Belov

Yu.I. Venelin's *scholarly journey* to the Balkans is considered from the perspective of the resources of a romantic perception of the world and taking into account psychological features of a Russian *raznochinets* intellectual of 1820s–30s. The heroic myth of the discoverer that inspired Venelin imposed significant restrictions on his research practice.

*Keywords:* Yu.I. Venelin, history of Slavic studies, travels of Russian scholars, Romanticism, *raznochinets*.